

БЕЛАЯ НОЧЬ



Время близилось к полуночи. По крайней мере, так ему казалось. Двери давно заперты, но он знает, как вернуться незамеченным. Не впервой ему убежать среди ночи и шататься по парку с товарищами, а в последнее время все чаще одному.

Небо светлело, но под тенью огромных деревьев было сумрачно. Хорошо, что дорожки прямые и никуда не виляют. Впрочем, он знал парк наизусть. К тому же видел в темноте, как кошка.

Ветер шумел в верхушках, но здесь, внизу, было так тихо, что он явственно слышал собственные шаги.

Он шел неторопливо и вдруг, уже почти дойдя до пруда, услышал голоса. Они звучали негромко, приглушенно. Нежные женские голоса.

Кому-то не спится белой ночью так же, как ему.

Он свернул с дорожки и стал пробираться к берегу. Водная гладь была девственно спокойна, а голоса доносились из беседки. С одной сторо-

ны к ней вплотную примыкали кусты, там можно спрятаться и подсмотреть.

Он проворно шмыгнул в заросли, обогнул строение и осторожно, очень стараясь не шуметь, прокрался к беседке. Вылезать было опасно: при таком освещении легко быть обнаруженным, поэтому он привстал на цыпочки и вытянул шею.

Их было пять. Женщины болтали и смеялись переливистыми голосами, а он изо всех сил пытался разглядеть, кто эти ночные наяды. Ему почудилось, что он узнал один из голосов. Неужели она?

Он переступил с ноги на ногу, наклонился и вытянулся в ниточку. Ах, если бы присесть прямо под балюстрадой! Тогда все было бы видно просто отлично!

Покусав губу, он немного подумал, а потом опустил на четвереньки и пополз под низко свисающими ветками. Худенький, ловкий, он двигался довольно быстро, и впереди уже показались фигурные столбики, обрамлявшие беседку.

Вдохновленный успехом, он решил сделать последний рывок и тут же наступил на сухой сучок.

Сучок предательски треснул.

Словно выстрел грохнул.

Раздался дружный визг.

От неожиданности он присел и закрыл руками голову.

Из беседки стремглав выбежали испуганные нимфы и с топотом понеслись по аллее ко дворцу.

Мгновение, и все стихло. Он подождал немного, пытаясь унять бешено стучащее сердце, а потом вдруг рассмеялся, закрывая рот ладонью.

Ветер, будто вторя, потряс листву деревьев.

Уже не очень хоронясь, он зашел в беседку и присел на мраморную скамью. Ему было смешно. Крался, будто бенгальский тигр, а в конце оконфузился, как неуклюжий бегемот.

— Фоу, — обругал он себя по-французски.

Интересно, она была среди наяд? Она любит купаться по ночам.

Возле левой ноги вдруг слабо блеснуло. Нагнувшись, он поднял с влажного мраморного настила что-то маленькое и развернулся к свету, чтобы рассмотреть получше.

На его ладони лежала сверкающая капля.

Неужели эта сережка выпала из ее нежного уха?

Он подумал и тут же вспомнил. Да! Он видел эти бриллиантовые серьги на ней тогда... Конечно! Он не мог ошибиться! Ее облик он мог нарисовать с закрытыми глазами! Ах ты, Боже мой! Само провидение привело его в эту беседку!

Он нежно погладил пальцем серьгу. Какая прозрачная...

Как слеза...



ТЕТЯ МОТЯ

Матрена была родом из глухого северного села. Даже не села — деревни. В селе всегда церковь есть, а от их деревни до ближайшего храма более десяти верст. Если пешком, так почти четыре часа ходко шагать по проселку.

Матреной ее назвали, потому что родилась двадцать второго ноября, как раз на преподобную Матрону Константинопольскую. На дворе стояла непогода, сыпал дождь со снегом, поэтому фельдшерца добраться до их дома не успела. В родах помогала деревенская повитуха. Хорошо, хоть такая наплась, иначе тятеньке самому пришлось бы дитя принимать. Впрочем, Евсей Иванович справился бы. Он всегда со всем справлялся.

Матрена любила отца куда больше матери. Никому бы в этом не призналась, но при любой нужде за советом и помощью бежала к нему. Ласковый да понятливый. Матушка тоже была хорошая, но суровая. Если что, так и слушать не станет:

враз подзатыльник отвесит, и побежишь, откуда пришел.

В школу Матрену отдали поздно, почти в восемь. Она и так росла девочкой крупной, а в классе вообще была всех старше и выше на голову, поэтому с первого дня ее стали дразнить тетей Мотей. Сначала она обижалась, плакала, а потом привыкла.

Так и осталась на всю жизнь тетей Мотей.

Школа была в селе. Чтобы не опоздать на урок, вставать приходилось вместе с матушкой, которая в четвертом часу утра отправлялась доить корову. До школы ее провожал тятенька, а зимой и встречал. Дорога ведь почти все время лесом шла. Волков в их местах не водилось, но медведи баловали. Весной посветлу она туда и обратно ходила сама. Привыкла наматывать километры.

Окончив школу, Матрена не в пример подружкам никуда не уехала, осталась помогать родителям, а для стажа устроилась в клуб секретарем к директору Михаилу Терентьевичу, своему крестному. Клуб построили в семидесятых. Вышел он огромным и помпезным, с четырьмя колоннами по фасаду. Народ в клуб ходил неохотно, все больше в храм. Только молодежь бегала в кино и на танцы, однако молодежи в их краях год от году становилось все меньше. Ставки в штатном расписании клуба все время сокращались, пока не остались директор, баянист, уборщица и секретарша. На это хлебное место крестный и пристроил Мотю.

На самом деле она была при клубе за всех. Крутила кино, включала на танцах магнитофон, готовила украшения на елку для малышей и была за Деда Мороза. Летом организовывала при клубе детский лагерь, чтобы родители могли спокойно ходить на работу, зимой с девочками вязала и пела народные песни, вроде как кружок фольклорный вела. Директор был доволен, потому что все это она делала за зарплату секретаря.

Ей было восемнадцать, когда приехали студенты строить новый коровник. Старый сгорел от короткого замыкания по весне.

У Моти случилась любовь с одним из них. Звали его Эдуард. Имя было необычное, звучное, гордое, да и парень ему под стать. Высокий и до невозможности красивый.

Пока студенты жили в деревне, в клубе всегда былолюдно и весело. Дискотеки — так на новый лад стали величать танцы — проводили чуть ли не каждый день. Деревенские парни девчонок к столничным не ревновали, так как их было раз, два и обчелся. Так, мелочь одна.

Мотя считалась девушкой видной, статной, вот только по росту ей никто из местных не подходил. А Эдуард подошел сразу. По всем статьям.

Осенью студенты уехали и вернуться не обещали.

А через месяц Мотя поняла, что беременна.

Три дня она просто редела от страха, а потом пошла с повинной к тятеньке. Так, мол, и так,

грешна по полной программе. Думала, теперь ба-тюшка от нее отречется.

А Евсей Иванович взял да обрадовался. Он думал, что дочка старой девой останется. За кого тут замуж-то выходить? Конечно, можно в район податься, а то и в Санкт-Петербург, будь он неладен, но Мотя от них с матерью никуда не уедет, это он знал и с каждым годом все больше печалился о судьбе дочери.

И вот те здрасте! Не было ни гроша, да вдруг алтын! В семье прибавление, и все при своих интересах: Мотя при сыне, а он при внуке.

Почему-то Евсей не сомневался, что родится мальчик. Так оно и вышло. Назвали пацана Андреем, потому что появился он на свет аккурат в последний день мая, как раз на Андрея Лампсакского, мученика.

Мать, как узнала, что дочка собирается в подоле принести, чуть не преставилась. Кричала и бранилась месяц. Еле отошла. Грозилась, что к прелюбодейному отродью, вымеску несчастному даже не подойдет, не разговаривала с дочерью до самых родов, а как увидела младенца, аж запласть. Сама попросила на руки взять и с той поры с рук не спускала.

Как при такой любви не вырасти Андрюше красивым да добрым?

В доме Андрей был на все руки, учился хорошо, в храм ходил с удовольствием, не то, что другие ребяташки, с людьми ладил, пользовался уважением стариков.

На него уж девушки стали заглядываться, приезжали в деревню, где он помогал матери в клубе, даже из соседних сел. Но парень был строгих правил. Сначала решил отслужить, а уж после о женитьбе думать.

И по осени ушел в армию.

Мотя быстро заскучала, да так, что хоть волком вой. Писал сын регулярно, но разве письмами тоску уймешь?

Через полгода тревога так замучила Мотю, что она собралась и поехала к сыну.

Все представляла, как он обрадуется, с аппетитом будет уплетать домашние гостинцы, а она наконец нацелуется крепких румяных щек сыночка, наглядится его темных кудрей.

Мотя добиралась до части без малого три дня, а когда доехала, узнала, что сутки назад ее Андрюша погиб, вытаскивая товарищей из горящей казармы. Других спас, а на самого балка упала и придавила.

Ей даже увидеть его не дали. Тело сильно обгорело, не на что, мол, смотреть.

В один миг Мотя ослепла и почти тронулась умом.

Через несколько дней, безумную и незрячую, ее нашли у ворот Спаса-Вознесенского женского монастыря.

Настоятельница матушка Аниманса до ухода в монастырь работала врачом на «Скорой». Она осмотрела Мотю и велела оставить.

Через год Мотя снова стала видеть, однако прийти в себя никак не могла. Почти не говорила и ничего не объясняла. Имя свое вспомнила, и все. Анимаиса сказала, что надо набраться терпения. Господь милостив.

Мотю пристроили убирать монастырский двор, мести дорожки, прочищать канавку вдоль стен.

Там, в канавке, на третьем году своего пребывания в обители Мотя и нашла коробку с полуживым младенцем.

Девочке было от силы несколько дней. Пуговина была плохо перевязана и сильно кровоточила.

Мотя принесла ребенка матушке. Та сказала:

— Выходим.

И выходили.

Крестили малютку девятого мая на Глафиру Амасийскую, праведную деву, в приделе святого Андрея Первозванного в храме Вознесения Господня.

Девицу так и нарекли — Глафира Андреевна Вознесенская.

В этот день Мотя пришла в себя. Упав в ноги матушке настоятельнице, она слезно молила ее не отдавать девочку в Дом малютки, а оставить при монастыре.

Матушка Анимаиса была женщиной разумной и понимала, что по закону это почти невозможно, но, помолившись, пошла по инстанциям. И случилось чудо. Девочка осталась на руках Моти, которая была уверена, что это Андрюшенька прислал

ей вместо себя утешение. И отчество свое девочке дал.

К Моте все вернулось: и сила, и зрение, и разум. Уж этого ребенка она не потеряет.

Никто никогда не говорил Глафире, что ее нашли в сточной канаве. Все словно вычеркнули это из памяти, а вот Мотя не смогла. Заполненная темной грязной водой канава и размокшая коробка так и стояли у нее перед глазами. Даже посиневшего младенца она помнила словно в тумане, а коробку — так, будто все случилось вчера. Она не могла объяснить это странное свойство памяти, но всякий раз, когда ей чудилось, что Глафире грозит опасность, тонущая в грязи коробка не давала ей покоя.

Мотя понимала это видение как знак от Господа. Мол, будь всегда рядом, не оставляй, не покидай.

Мотя так и делала: оставалась рядом с девочкой каждую минуту. Тем более что ни тятеньки, ни матушки уже не было на этом свете. Когда она, снова войдя в разум, кинулась в родную деревню, оказалось, что родители год как померли. Сначала отец от разрыва сердца, а потом уж и мать. От одиночества.

И остались они с Глафирой вдвоем.

ГЛАФИРА



Тетя Мотя была знатной ругательницей. Конечно, в монастыре любые ругательства — не только мат, но и все известные современному человеку нехорошие слова — были под строжайшим запретом.

— Это все дьявольское научение! Он вашими устами говорит! — любила повторять матушка Евтихия.

Но Моте все эти слова были не нужны. Всю жизнь прожившая в деревне, она отлично обходилась местной «терминологией», которую, кроме нее, никто расшифровать не мог, хотя догадаться о смысле было несложно.

Глафира знала, что Мотя любит припечатать словечком, поэтому сегодня с самого утра ждала вердикта на свое решение сойти с сытой чиновничьей стези.

И дождалась.

Вернувшись из магазина и повесив на крючок в прихожей пальто, которое Мотя называла сало-

пом и, не снимая, носила почти круглый год — зимой под него надевалась вязаная кацавейка и пристегивался цигейковый воротник, — выгрузила продукты и начала:

— Вот знала я, что ты межеумок. Это ладно. Но хоть не полная балабошка! Ну чего тебе в теплом кабинете не сиделось? Нешто там одни дуботолки сидят? Небось поумней тебя будут! А все потому, что ты поперешница! Тебе слово, ты — десять!

Мотя высунула из кухни сердитое лицо, чтобы видеть, доходят ее ругательства до Глаши или нет.

Глафира, отвернувшись, гладила белье и ничего не отвечала. Улыбалась только.

— А я ведь знаю, кто тебя с пути сбил! Тетешница эта, Ирка! Так ты ее не слушала бы! Она ведь мало того, что белебенья, так еще и свербигузка! Сама больше месяца нигде не работала и тебя со-вращает!

Глафира знала, что Ирку Мотя приплела не зря: провоцирует! Ждет, чтобы она вступила в пререкания, стала защищать подругу, и вот тогда-то Мотя даст жару!

Ну уж дудки!

Надо набраться терпения и дождаться, когда запал иссякнет и можно будет спокойно объяснить, почему она ушла из комитета соцзащиты. Надоело глупостями заниматься. Бумажки переключивать, как говорится.

Окончив школу, Глаша выбирала, где учиться, и раздумывала недолго. Она выросла при монастыре и много навидалась. Больные и просто глубоко несчастные люди приходили к ним, чтобы получить помощь и сочувствие. Она умела выхаживать увечных, заботиться о старых — и все это не вызывало у нее отторжения и брезгливости, наоборот, радовала возможность помогать людям.

Она легко поступила в хороший вуз на отделение, где готовили социальных работников, и ни разу об этом не пожалела. Вот только работать ей пришлось в душном кабинете, забитом бумагами и бабами, которые сами не знали, что они тут делают. Просто работали за зарплату.

Мотя ужасно пугалась всяких перемен, а больше всего — неизвестности. Ну дело ли — пойти сиделкой в чужой дом! Что за дом? Какие в нем порядки? Может, там Глашу обижать будут, а это ей, Моте, стерпеть никак невозможно!

— Чего молчишь? Неужто язык проглотила? — поинтересовалась она.

— Жду, когда ты утомонишься и мы нормально все обсудим.

Глафира сложила стопочкой белье и убрала в шкаф.

Мотя ушла на кухню и тяжело вздохнула. Вот ведь с вечера чувствовала, что денек не задастся. Так оно и случилось! Господи, прости!

Глафира тихонько подкралась и обняла сердитую Мотю.

— Да не вздыхай ты так, а то у меня сразу под ложечкой сосать начинает. Все еще лучше будет, чем раньше. Точно тебе говорю.

— Говорит она, — ворчливо ответила Мотя, но было видно, что ласковый голос Глаши подействовал на нее успокаивающе.

— Мой подопечный — литературовед, доктор филологических наук.

— Каких «лологических»? Что за науки такие? — испугалась Мотя незнакомого слова.

— Вот обзыватья белебеньями и тюрюхайлами ты хорошо умеешь, а слова «филология» не знаешь! — назидательно сказала Глафира. — Это наука о литературе. Филологи ее изучают и нам рассказывают.

— А сколько ему лет, твоему профессору?

Мотя все старалась держаться поближе к интересующим ее проблемам.

— За семьдесят уже. Он инвалид. Не ходит давно.

— А руки у него работают? — продолжала выпытывать Мотя.

— У него голова работает, это главное. Знаешь, из четырех претенденток он сразу меня выбрал, — похвасталась Глафира.

— Так к нему еще и очередь была?

— А то ж! Интеллигентный одинокий человек, воспитанный, приятный в общении. К тому же хлопот с ним не слишком много.

— Как не слишком много, если и горшок выносить, и мыть, и перекладывать! Все тебе одной!

— Так в нем весу сорок килограммов! Он легкий! И потом, руки у него сильные, многое он сам делает, а на кресле, знаешь, как разъезжает! Быстрее меня! И главное, очень обходительный!

— Врешь ты все! Поди, пыня еще тот!

— Да нет, он не чванливый! Добрый! Работы совсем немного будет. Он целый день за столом сидит. Работает.

— И чего же он работает?

— Книгу пишет о поэзии. Толстую.

— Тооолстую, — передразнила Мотя. — Знаем мы этих филолухов!

— Да откуда ты их знаешь?

— Все они колоброды!

— Да как же колоброды, если он день и ночь работает! — всплеснула руками Глафира.

— Ну значит, тогда колупай!

Еще и колупай! Глафира поняла, что так просто Мотя не утомонится. Надо было предпринять что-нибудь эдакое, чтобы ее отвлечь.

— А помнишь, тебе понравился платок на тетке Вале из соседнего подъезда?

— И что с того?

— А вот!

Глафира принесла из коридора сумку и, словно фокусник, вытащила тонкий, переливающийся ярким синим цветом платочек. Вообще-то вещица береглась к выходным, ну да ладно!

Мотя посмотрела и ахнула.

— Газовый!

— Газовый и даже лучше, чем у тетки Вали!

Мотя развернула платок и полюбовалась.

— А где ж ты денег на него взяла?

— Мне аванс выдали. Вроде как подъемные.

— Так ты сразу все на платок профукала?

— Да ты лучше примерь.

— Нет, ты скажи!

— Надень, говорю, а то обижусь!

Мотя аккуратно сложила платочек и повязала на голову.

— Ну как? — спросила она с замиранием сердца.

— Поди, сама глянь!

Мотя подошла к зеркалу и засмотрелась.

— Королевна! Неужто не видишь?

Глафира посмотрела на довольное Мотино лицо. Утодила с платочком-то! Прямо насмотреться на себя не может! Теперь будет думать, как завтра наденет свой салоп, повяжет платочек, пойдет в булочную, и все соседки это заметят.

— Ну спасибо тебе, Глаша. Только все равно...

— Давай чай пить, а, Моть! Ты меня уж при-
томила!

Мотя, забыв снять обновку, засуетилась, выставляя на стол тарелку с хлебом, сахарницу и чашки. Чай пить она обожала. Чуть управится с делами, сразу ставит чайник, а потом долго, с удовольстви-

ем пьет, смакуя сухарик или, что бывало нечасто, молочную карамельку.

Глафира села напротив, любуясь Мотей в новом платке. Много лет назад у Моти обнаружили диабет. Матушка Анимаиса сказала, что это стресс так повлиял. С тех пор Мотя сильно поправилась, раздалась, черты лица стали казаться мелкими и словно сгрудившимися посредине, придавленные большими щеками и несколькими подбородками.

Глафире казалось, что ничего милее Мотиного лица она не встречала.

— Знаешь, Олег Петрович сначала хотел, чтобы сиделка жила у него постоянно...

Мотя перестала жевать и замерла с набитым ртом.

— Не пугайся, ради Бога! Я сразу сказала, что у меня семья, поэтому постоянка меня не устраивает, и он согласился. Буду работать с восьми до шести шесть дней в неделю. В воскресенье вызовет только в крайнем случае.

— А ночью что ж? — поинтересовалась Мотя.

— С ним внучатый племянник живет, все, что необходимо, сделает.

— И в выходные сидеть согласился?

— Бартенев настоял, чтобы в воскресенье его оставляли в покое. Ему нужно личное пространство, как он выразился.

— А как же то самое?

— Мотя! Если ты не в курсе, то наука в этом вопросе шагнула далеко вперед.

— Да неужто? — поразилась Мотя. — Это куда же?

Глафира махнула рукой и не стала объяснять, Мотя, выждав самую малость, принялась за старое:

— А племяннику этому сколько лет? Небось старый уже?

Тоже нашлась хитрюга! Глафира улыбнулась.

— Да нет, не старый. Учится в университете.

Мотя заволновалась. Любой потенциальный ухажер, появляющийся на горизонте, действовал на нее дестабилизирующе. Конечно, она не собиралась всю жизнь держать Глашу у своей юбки, но доверить свое сокровище могла только тому, кто будет ее достоин. Все прежние, проходившие перед ее глазами, были, по Мотиному мнению, либо фуфлыгами, то есть совсем уж невзрачными, либо гулящими вертопрахами. И все, как один — подлыми обдувалами, готовыми обмануть ее Глашу.

— Так сколько ему? Двадцать, что ли?

— Наверное.

Глафира с подчеркнутым равнодушием запихла за щеку шоколадную конфету, которые в доме покупались только для нее.

— Ишь ты! Наверное! Да он уже, поди, глаз на тебя положил?

— Послушать тебя, так все только и делают, что глаз на меня кладут!

— А то нет? Помнишь того басалая, что в прошлом году к тебе лип?

— Да не лип он! Просто познакомиться хотел, и все! А грубо себя вел, потому что ты на него собак спускала! И вообще, Мотя, заканчивай ругаться! Что на тебя сегодня нашло?

Мотя пила чай и смотрела в окно. Можно было бы не спрашивать. Все заботы написаны у нее на лице. И важнейшая из них — она, Глафира.

Ну как Моте поверить, что Глаша уже взрослая и можно хоть немного ослабить контроль? Понятно, что Мотя чувствует за нее огромную ответственность, но все-таки ей уже двадцать четыре. Пора доверять! Только как об этом скажешь? Мотя сразу занервничает, станет плакать, а потом полночи на коленях перед иконами простоит.

Бедная моя Мотя!

Ни за что и никогда тебя не оставлю!



СОСЕДУШКИ

Когда Глафиру снаряжали учиться в университете, матушка Анимаиса сразу заявила, что ни в какое общежитие девочка не пойдет, а будет жить в хорошей квартире. Глаша подумала, что речь идет о съемном жилье, и воспротивилась: знала, сколько это стоит в Петербурге. Но оказалось, что с давних пор у матушки есть в городе квартира, которую держали на всякий случай. Жилье принадлежало сестре настоятельницы, которая давно умерла, завещав его Анимаисе. Изредка ею пользовались, но последние годы квартира пустовала, и матушка направила туда их с Мотей.

В новое жилье Глафира влюбилась с первого взгляда, и дело было не только в том, что никогда в жизни она не жила в квартирах.

Дом был стар, потому облуплен и некрасив до невозможности, зато стоял в самом сердце города и был по-настоящему питерским: с гулким колодецем двора, с узорчатой решеткой на воротах, вы-

ходящих прямо на Малую Морскую, и другими чудесами, главным из которых был надстроенный мансардный этаж, делавший дом похожим на парижский.

К наружной стене дома был приделан лифт, который исправно доставлял жильцов до шестого этажа. На седьмой мансардный, где находилась их квартира, приходилось подниматься по чугунной лестнице, до того звучной, что Глафира всегда знала, кто идет.

Тяжелое бумканье с остановкой на каждой ступеньке означало, что Мотя возвращается из магазина. Сколько Глафира ни ругалась, ни запрещала ей таскать тяжелые сумки, упрямыца делала по-своему, считая, что Глаша все равно купит не то и не там. Недорогой маркет поблизости всего один, набор продуктов постоянный, но Мотя была убеждена, что все равно сделает лучше. Глафира подозревала, что поход в магазин на самом деле задумывался для того, чтобы в очередной раз рассказать встреченным соседкам, какая разумница ее Глаша, какая хозяйка, ласковая да воспитанная. Мотя, много лет прожившая в монастыре, где все взывало к скромности, понимала, что ведет себя не по-христиански, но ее так распирало от гордости, что сдержаться она не могла. Как реагировали на ее дифирамбы соседки, было доподлинно неизвестно, хотя Глафира подозревала, что большой радости они при этом не испытывали.

Дробный перестук каблучков возвещал, что домой спешит Надя Губочкина, соседка справа. Они с мужем тоже переехали в Питер не так давно, года через два после Глафиры с Мотей. Игорь служил на военном крейсере, потому дома бывал редко. Надя работала в салоне красоты и считала себя опытным стилистом. Как-то раз от нечего делать она прицепилась к Глафире с предложением «сформировать ее образ». Она так и выразилась — «сформировать». Глафира сразу струхнула. Надя всегда выглядела ярко и, на ее вкус, возвращенный монастырским уставом, несколько вызывающе. Однако отвязаться от скучающей Нади не удалось, и, зажмурившись от страха, Глафира отдалась в руки профессионала.

Ей было уже за двадцать, но ни в салоны красоты, ни даже в парикмахерские она не хаживала. Не приучена была. Мотя вообще считала, что при Глашиной красоте никакие ухищрения не нужны. Другие пусть изгаляются, а ее красавице ненаглядной это без надобности. Сама Глафира так не думала, просто не знала, что и как нужно делать.

Сжавшись в комок и с ужасом прислушиваясь к шелканью ножниц, она внимала Надиным наставлениям.

— Вот ты волосы растила, а зачем? Все равно в пучок заматываешь. Гляди, как посеклись. Тоска смотреть. Висят, как вареные макаронины, и все. Брови вообще страхолюдские. Так, кажется, твоя тетя Мотя говорит? Ты ресницы хоть раз подкра-

шивала? А губы? Да не мотай головой, обрежу не то, что надо! При такой неухоженности откуда нормальному парню взяться? Надо следить за собой, чай, не девочка уже!

Возражать Глафира не смела, только думала, как среагирует на новомодные изыски Мотя. Надю та однозначно считала расщеколдой — а болтливых баб она терпеть не могла, — да к тому же ветрогонкой.

Чувствуя, как под накидкой потеет спина, Глафира ждала окончания экзекуции и жалела, что поддалась Надиному напору. А ну как она станет похожа на волочайку? Мотя преставится от ужаса, узрев, что Глафира сделалась точь-в-точь как гулящая женщина!

Надя сняла покрывало и торжественноскомандовала:

— Любуйся!

Глафира, трепеща, открыла глаза и не поверила им. Длинные волосы непонятного цвета, который люди называют русым, обрезаны и уложены аккуратными, чуть завитыми прядями. Брови, ресницы, губы — все было красиво накрашено и выглядело очень... благородно, что ли. Ничего пошлого и предосудительного. Вот только Глафира стала совсем другой. Куда-то делись тусклые, невыразительные глаза, бесцветная, бледная кожа.

Из зеркала на нее смотрела настоящая...

— Красавица! Ты, Глафира, просто красавица! — воскликнула донельзя изумленная Надя.

Но лучшим подарком в тот день стало то, что Мотя ни ругаться, ни возмущаться не стала.

— Я всегда знала, что ты лучшая, а теперь все это увидят! — вот что она сказала.

А потом взяла и отнесла Наде коробку деревенских яиц, что прислали из монастыря.

Не сразу, а постепенно Глафира научилась ухаживать за собой, и за это опять-таки спасибо надо было сказать Наде Губочкиной. Та, впрочем, тоже обделенной не осталась, найдя в Глафире благодарную клиентку и послушную ученицу.

Когда на площадку поднимался Ярик Шведов, мальчишка, совсем недавно поселившийся в квартире слева, лестница и перила ходили ходуном, словно к ним в гости шел гипшопотам. Сам Ярик был больше похож на юркого опоссума или суриката. Глафира не поверила, когда узнала, что ему уже четырнадцать, — выглядел он двенадцатилетним, но прыти в нем было хоть отбавляй. К тому же по законам жанра соседей он в грош не ставил, при каждом удобном случае хамил и ровно в одиннадцать вечера врубал на всю катушку какую-то несовместимую с представлением о нормальных человеческих звуках музыку.

Жил Ярик один. Вернее, с отцом, но тот, как доложила всезнающая Надя, уже почти как полгода лежал в госпитале. Точно она не знала, но Шведов-старший, кажется, прибыл из «горячей точки» и был серьезно ранен.

— А мать где? — спросила Глафира.

— Не видала. Может, умерла, может, бросила.

— Неужели у них родственников нет, чтобы с мальчишкой посидели?

— Похоже, нет. Ни разу не приходил никто. Растет пацан, как лопух у дороги. Но, знаешь, я смотрю — справляется! Вчера две сумки с продуктами притащил, мимо иду, чую — грибным супом пахнет и котлетами. Самостоятельный, видать!

Жалостливая Глафира всю ночь думала, как помочь одинокому мальчику. Они с Мотей решили, что надо поставить Ярика к ним на довольствие. Мотя напекла пирогов и попыталась пригласить соседа на чай. Тот даже до конца не дослушал! Огрызнулся так, что Глафира с Мотей прикусили языки и больше благотворительностью не занимались.

Самостоятельный, точно!

Глафира дружила с Надей и дипломатично старалась обходить стороной строптивного подростка.



ПРОФЕССОР БАРТЕНЕВ

Когда Мотя после появления в ее жизни Глафиры «вернулась в разум», ей доверили более сложную работу, чем подметание двора. Она была работящей, терпеливой, доброй, и матушка Ани-маиса назначила ее ухаживать за больными. Мотя с радостью взялась, а Глафира стала крутиться рядом, так и научилась всему.

Справедливо считая, что справится с обязанностями сиделки, на собеседовании она держалась уверенно и спокойно. А когда пришло время приступать к работе, струхнула не на шутку.

Ну как профессор окажется излишне требовательным и строптивым? Она ведь не медсестра по образованию, а соцработник. Конечно, многое умела, но все же... На собеседовании ей пришлось упомянуть, что выросла она при монастыре, и профессор, кстати, был удивлен. Даже спросил,

не послушница ли она и не собирается ли в будущем принять постриг. Глафира только улыбнулась и покачала головой.

Из дома она вышла рано, решив, что пойдет пешком, по пути немного оклемается и при профессоре свои комплексы продемонстрировать не станет. Заодно и кратчайшую дорогу к дому Бартенева выучит.

Дом, в котором обитал Олег Петрович, был необычным, как и его история. Двухэтажный, довольно высокий, но узкий, когда-то он использовался как служебное помещение для большого магазина скобяных изделий и механизмов купца второй гильдии Онуфрия Евстафьевича Обручева. На первом этаже был приемный пункт, куда петербуржцы приносили сломанные механизмы, на втором — контора. По виду — обычная пристройка, только не какая-нибудь дощатая и наскоро скроенная, а каменная, оштукатуренная и с обогревом, чтобы рядом с приличным магазином не казалась убогой и не позорила хозяина. После революции магазин не закрылся и даже не был разграблен. Скобяные изделия оказались нужны людям и при Советах. Что уж говорить о механизмах! Хозяин, правда, сгинул где-то еще в тридцатых, но его детище дотянуло аж до девяностых годов двадцатого века, пока по чьей-то прихоти не превратилось в салон для новобрачных. Уж больно удачно стояло: такие места в большом городе называют

«тихим центром». Новобрачные, они люди суеверные, боятся сглаза, порчи и даже завистливого взгляда. А тут — и нескромные прохожие под ногами не крутятся, и места много.

Пристройку ожидала иная судьба. К свадебному салону она почему-то не пристроилась, а была переоформлена в жилое помещение. Так посреди многоэтажного Петербурга, вдали от шумных улиц появился небольшой и довольно приличный особнячок.

Олегу Петровичу он достался вместе с женой.

С Людмилой они учились на одном курсе в университете. Она была хорошей студенткой, но совершенно не собиралась посвящать себя филологии. Этого она ни от кого не скрывала, считая, что высшее образование — просто печка, от которой нужно танцевать. После получения диплома она ушла в какой-то бизнес, а когда все теневое вдруг вылезло наружу и стало тем, чем можно гордиться, оказалось, что из нее получилась крутая бизнес-леди. Личная жизнь, правда, не задалась. Просто за делами некогда было, но когда появилась возможность передохнуть и оглядеться, Людмила всерьез задумалась о спутнике жизни. Ей давно за сорок, а она не замужем. Те ребята, с которыми делала деньги, в мужья приличной даме не годились. И тут на юбилейном вечере встречи выпускников филфака она заметила Олежку Бартенева, когда-то не на шутку влюбленного в нее и науку. С наукой, как выяснилось, у него получи-

лось лучше, чем с ней. В свои сорок с хвостиком он был уже доктором наук и членкором — вполне солидно. А самое главное, до сих пор не женат, бедняга! Кстати, выглядел он вовсе не захудалым ботаником: интеллигентный, приятный в общении и при этом не занудный, не забитый и не шарашающийся от женщин.

Людмила взяла быка за рога и очень быстро добилась своего. А когда выходила замуж, была в Бартенева почти влюблена.

Бывшую пристройку она купила перед самой свадьбой и все отлично в ней обустроила. Домик был невелик по площади, зато в самом престижном районе. Кроме того, недалеко от университета, где преподавал муж. Людмила была хорошей женой. Она вообще все делала на пять с плюсом. Олегу Петровичу были созданы все условия для занятия наукой, и его успехами на этом поприще жена искренне гордилась.

В общем, пара из них получилась вполне гармоничная. Детей, правда, не случилось, но ни одну, ни другого это не огорчало. Она вся в бизнесе, он весь в науке. До того ли?

Профессор вовсе не был нахлебником у богатой супруги. Конечно, его заработки при кипучести профессиональной деятельности были несравнимы с доходами жены, но это искупалось авторитетом в научных кругах, званиями, наградами, наконец, статусом крупного ученого.

Так они жили-поживали да добра наживали.

А потом пришла старость.

Сначала — к Людмиле, и не одна, а с болезнями. Работать по двадцать четыре часа в сутки уже не получалось, часто она оставалась дома одна и постепенно поняла, что жили они с мужем, в общем-то оставаясь чужими людьми. Она — в бизнесе, он — в науке, а общего совсем немного. Только любимый ими обоими дом.

Олег Петрович о душевных терзаниях жены не догадывался. Он по-прежнему был востребован и успешен. В своей области, разумеется. Он-то как раз еще мог работать сутками: сидеть за столом, копаться в документах или статьи писать.

Но тут случилось неожиданное. Возвращаясь с очередного симпозиума, Олег Петрович попал в аварию. Таксист, который вез его из аэропорта, отделался легким испугом и сломанным ребром, а Бартенев остался инвалидом.

Впрочем, то, что он пересел в инвалидную коляску, мало сказалось на его деятельности. В больнице он пробыл довольно долго, зато потом кинулся наверстывать упущенное. Благо мозги в аварии не пострадали, только позвоночник и суставы ног.

Трагедию, случившуюся с Бартеневым, Людмила пережила стойчески. Она даже обрадовалась, что они наконец-то больше времени смогут проводить вместе. Когда же обнаружила, что их жизнь мало изменилась, загрустила окончательно.

Так она чахла несколько лет, пока не зачахла окончательно.

В семьдесят профессор остался один.

И тогда в его жизни появились сиделки. Поначалу они раздражали ужасно. Он с трудом переносил присутствие в доме чужих людей, особенно женщин — сиделке приходилось делать всю грязную работу по уходу за инвалидом, а не только уколы и массаж. Одна, впрочем, задержалась на три года, и Бартенев успел к ней привязаться. А потом женщина уехала в Ставрополь нянчить внуков.

Надо было искать новую сиделку, и это было мучительно.

Одно хорошее агентство взялось ему помочь и даже устроило собеседование с претендентками.

Женщины все, как одна, были квалифицированными медсестрами и опыт ухода за инвалидами имели, но Олег Петрович остановил свой выбор на девушке, не имевшей медицинского образования и работавшей до этого в комитете соцзащиты.

Почему он выбрал именно ее, профессор и сам не понимал. Он даже согласился на неудобный режим работы, ведь ночью он оставался со Стасиком, безалаберным внучатым племянником, от которого толку ждать не приходилось.

И все равно выбрал именно эту. Может быть, потому, что она выросла в монастыре и у нее было очень красивое имя — Глафира. В переводе с греческого значит — изящная, искусная, утонченная.

ЕЛЕНА ДОРОШ

Тетенька из агентства была недовольна его выбором и еще два дня настойчиво отговаривала, но профессор остался тверд. Может, он и пожалеет о своем выборе, но что-то подсказывало: с этой будет интересно общаться. Может, они даже подружатся. С чего он это взял, профессор объяснить не мог.